

Александр Житинский

# Вчера, сегодня, позавчера...



*Часть сборника  
Лестница (сборник)*



Александр Житинский  
**Вчера, сегодня, позавчера...**

«Геликон Плюс»

1975

**Житинский А. Н.**

Вчера, сегодня, позавчера... / А. Н. Житинский — «Геликон Плюс», 1975

«Он приехал рано утром, в субботу. Дети еще спали, а я на кухне мыла посуду. У меня всегда с вечера остается посуда, а тут осталась еще с позавчерашнего вечера. Целая гора грязной посуды. Я встала в шесть часов и принялась ее мыть. Я уже почти успокоилась, а потом услышала, как в замке поворачивается ключ. Осторожно так, виновато...»

## Александр Житинский

### Вчера, сегодня, позавчера...

Он приехал рано утром, в субботу. Дети еще спали, а я на кухне мыла посуду. У меня всегда с вечера остается посуда, а тут осталась еще с позавчерашнего вечера. Целая гора грязной посуды. Я встала в шесть часов и принялась ее мыть. Я уже почти успокоилась, а потом услышала, как в замке поворачивается ключ. Осторожно так, виновато.

Он прямо в пальто вошел в кухню и встал сзади. У меня слезы снова сами собой закапали, но я не хотела их ему показывать. Стояла и терла тарелку.

– Ириша... – сказал он. – Я приехал.

Я сама видела, что он приехал. И все наизусть знала, что он скажет. Если бы только я смогла не зареветь, я бы повернулась и сказала: «Привет!» Интересно, что бы он тогда сделал?

– Я тебе потом объясню, можно? – сказал он.

– Можешь вообще не объяснять, – сказала я.

А еще лучше было бы, если бы он приехал, а меня нет. Дети на месте, а меня нет. Надо было выкинуть с ним такую штуку. У него всегда есть к кому вернуться.

Он все стоял, хоть бы разделся, повесил бы пальто в прихожей. Я бы успела слезы стереть, а потом сказала бы: «Привет!» Хотя теперь уже поздно, нужно было сразу.

– Ты понимаешь, мне нужно было ее увидеть...

Все это уже было восемь лет назад. Ничего не изменилось. Ему сейчас нужно было врать, врать, небрежно так врать, будто все в порядке вещей. Пропал на двое суток, потом явился. Но он бережет свою честность. Он считает, что мне так легче.

Все равно бы я ему не поверила. Наизусть знаю.

Он наконец ушел раздеваться. Я слезы вытерла, а они опять потекли. Никто ничему не научился: ни он, ни я. И она тоже не научилась.

Странно, что я на нее не злюсь.

Он снова пришел, обнял меня за плечи и стал тыкаться носом в шею. Его тоже жалко. Ему не повезло, что он в такую ситуацию попал. Это не для его характера.

Он кончиками пальцев провел по моей щеке, и они у него стали мокрыми. Тогда он повернул меня к себе и стал целовать в щеки, а слезы слизывал языком.

Тут я подумала, что она, наверное, тоже вчера плакала, когда он с ней прощался. А он тоже ее так целовал. Мне его еще жалче стало. Что за радость целовать плачущих женщин?

– Не сердись... – сказал он.

Он даже прощения не просил, потому что считал, что не виноват. А кто виноват? Наверное, я виновата, что нарожала ему детей, пока он разбирался, что к чему.

– Пойди вымой руки, – сказала я.

Он пошел. Вымыл руки, потом побрился. Дети проснулись и выскочили из комнаты. Он им улыбнулся, что-то сказал, и мне показалось, что ничего не было, просто так, дурной сон. Всегда я на это попадаюсь.

Мы завтракали вместе почти как всегда. Он даже шутил, а *это* было задвинуто куда-то в дальний угол и лежало там до поры до времени. Все равно никуда его не денешь, не выбросишь.

День был длинный и какой-то бестолковый. Я не могла дождаться вечера, очень устала. Пошли с детьми в Парк культуры, Алик был предупредительнее и внимательнее, чем обычно. Возвращаться домой не хотелось, потому что мы оба знали, что о н о все еще там лежит. Когда катались на карусели, он обнял меня и долго внимательно смотрел в глаза. Нет, он не сравнивал нас, я знаю. Он еще тогда объяснил мне, что мы «находимся в двух непересекающихся пространствах». Наверное, это ему кажется.

Господи, мы еще катались на карусели! Подумать только.

Вечером он ходил по комнате и раза три подошел к окну. Долго смотрел в одну точку. Все, ну все как тогда! Только я, пожалуй, уже не воспринимаю это так трагически. И совсем не от уверенности, что он никуда не денется. Просто что-то перегорело еще тогда, восемь лет назад.

Раньше, когда я была девочкой, я думала, что любовь – это для людей от шестнадцати до двадцати пяти. Дальше уже неинтересно и незачем. И вот оказывается, что она, совсем как человек, тоже переживает детство, юность, зрелость... Наверное, переживает и старость, посмотрим. Конечно, я его люблю, но это уже зрелость. Она у меня с привкусом горечи, потому что, когда любовь у нас переживала юность, все и случилось. Сейчас мне уже не страшно, а вот тогда я могла сломаться.

Я легла рано и быстро заснула. Проснулась я ночью внезапно, будто от толчка, и увидела, что Алик сидит за столом и пишет. Он сидел ко мне спиной. Я долго на него смотрела и повторяла про себя: «Оглянись, оглянись...» Раньше это у меня получалось, он оглядывался. Но сегодня он все писал и писал, не отрываясь.

Мне даже не нужно было спрашивать или заглядывать. Я знала, кому он пишет. Потом я снова заснула, и мне снилось то же: он сидит и пишет, а исписанные листы падают на меня, и мне становится тяжело, душно.

Утром он спал рядом со мной, а на столе ничего не было.

...Я пишу это, чтобы не забыть тебя.

Мне нужно ежедневно тщательно придумывать тебя заново, не упуская ни малейшей подробности – от походки до тонкой прядки волос, отбившейся от прически и спускающейся на лоб к острому кончику брови, – прядки, которую ты поправляешь легким движением, каждый раз смешивая мои мысли и заставляя тобою любоваться. Мне нужно вспоминать тебя прилежно, как школьное стихотворение, повторяя вслух интонации и копируя насмешливый тон твоих разговоров, пока я не почувствую, что это безнадежное и унылое занятие, но я все равно стану это делать, потому что иначе ты вообще исчезнешь, не оставив мне взамен ничего, кроме фотографии восьмилетней давности, на которую я не должен смотреть, ибо она бессовестно врет.

Фотографии лгут своей правдоподобностью, своею похожестью на правду, своей, если можно так выразиться, доказательностью. И на той фотографии все твое, то есть настолько твое, что по ней можно отыскать тебя в толпе, если бы это кому-нибудь понадобилось. Но я отыскиваю тебя в памяти, и она вступает в противоречие с фотографией. Я даже не знаю, чего больше в моей памяти – воображаемого или реального.

Сегодня был второй день, отпущенный нам за шестнадцать лет. Это настолько забавно, если учесть, что мы продолжаем любить друг друга так же, как позавчера, то есть в девятом классе средней школы, это настолько занятно, повторяю, что можно весело посмеяться насчет темпов нашей любви, которая в конце концов, годам к шестидесяти, даст нам полноценную неделю общения. И сегодня мы бесстрашно смеялись над временем, когда бродили по черной февральской Москве, по слякоти, по переулкам, уставленным грязными автомобилями, то и дело натываясь на красные огни светофоров.

Сегодняшний день я могу описать минуту за минутой, начиная с той, когда я понял, что еду к тебе, и кончая последней, когда почувствовал, что от тебя уезжаю. Вчерашний день восьмилетней давности уже зыбок, непрочен и смешан с фантазией, а наше позавчера вовсе нереально, оно эфемерно, как ты выразилась, между тем как именно там все было по-настоящему. Я уже сталкивался с такой непонятной на первый взгляд вещью, когда сегодняшний день с его утомительными и верными подробностями кажется тем не менее лишенным правды, а выдумка, по сути чистая игра воображения, оказывается стократ истинней. И тут полная аналогия с фотографией, на которой ты – это не ты, а всего лишь твое изображение...

Иногда я вспоминаю первые дни нашего знакомства.

Это было в институте, на третьем курсе. Алик потом говорил, что он целый месяц подстраивал все так, чтобы со мной познакомиться. Он перевелся в наш институт из другого и оказался в параллельной группе. На общих лекциях он садился рядом или неподалеку, в перерывах ходил мимо, а я ничего не замечала. То есть я видела его, конечно, но у меня и в мыслях не возникало что-то такое. Он был очень не для меня, я обычно таких ребят сразу отодвигала в сторону. Я была стеснительная, для меня прямо мука была с кем-нибудь заговорить. И нравились мне тоже такие. А ему вроде ничего не стоило завязать разговор, шуточки, то да се... И никогда не поймешь, шутит он или нет. Я как услышала, что наши девочки из группы его обсуждают, так и решила: не для меня. Они говорили про него «интересный», а я этого слова терпеть не могу.

Поэтому я сначала не поверила, когда заметила, что он рядом вертится. Думала, что он с кем-нибудь из наших девочек хочет познакомиться. Нарочно стала отсаживаться от них, а он за мной. Первое время как бы между прочим, а потом все стали замечать и удивляться.

Я думаю, что стали удивляться, хотя мне никто не говорил.

Он долго со мной не заговаривал, просто сидел рядом. С другими запросто болтал, а на меня только посматривал. Потом однажды перед какой-то лекцией сказал, когда я мимо проходила:

– Я вам место занял... Садитесь.

Я растерялась и сдуру брякнула:

– Мы с вами не знакомы.

Прямо как в трамвае. Он на меня посмотрел долгим взглядом, и тут я увидела, или мне показалось, что он не такой вовсе, как я о нем думаю. Я раньше не замечала, что глаза у него грустные. Он посмотрел и сказал медленно:

– Я знаю, как вас зовут, и фамилию тоже. И вы знаете... Значит, мы знакомы. Садитесь... И вообще это не тот случай.

Я не поняла, что он хотел этим сказать, но села. После лекции он пошел меня провожать. Он это сделал так, что все увидели: нес мой портфель, как первоклассник, и был серьезен.

Мы шли и молчали. У самого дома он отдал мне портфель и сказал:

– Ты не сердись, что я молчал. Мы еще с тобой наговоримся.

И я не знаю, почему у меня вырвалось:

– Все равно у нас с тобой ничего не выйдет!

Он мне ничего не предлагал еще, три слова сказал, но я как-то почувствовала, что он упрямый и самолюбивый. И все-таки не очень для меня.

– Выйдет! – сказал он, повернулся и ушел.

А когда отошел метров на двадцать, обернулся и крикнул:

– Спорим?

Ему тогда двадцать лет было и мне тоже. Я до сих пор не знаю, кто же выиграл тот спор.

Получилось так, что с самого начала между нами не было никакой тайны. Все было равно. Потом, когда мы с ним разговорились, он стал про себя рассказывать. Он мне все рассказывал, и про всех своих девушек тоже. Кроме одной, как после выяснилось. Я уже догадывалась, что он увлекающийся, поэтому думала, что и со мной это так, на время. И самое главное, я не могла в него влюбиться. Ну так, чтобы мучиться, ссориться, ревновать и все такие вещи. У меня один раз до него это было.

Он ходил меня провожать, водил в театры и в кино, а я все твердила: «Зачем тебе это? ничего хорошего все равно не получится». А он только усмехался и говорил: «Посмотрим».

Незаметно он приобрел надо мной какую-то власть. Мне уже было не по себе, когда его рядом не было. Я очень несамостоятельная и робкая. Я людей с детства боялась, а все думали, что я излишне гордая и заносчивая. Он первый отгадал, какая я на самом деле.

Потом уже, когда поженились, мы с ним долго говорили об этом. Мы до сих пор любим обсуждать всякие тонкости, только мне сперва казалось, что разговоры интересны только мне. Я до него так мало говорила с другими, что у меня много накопилось. Позже я узнала, что ему тоже интересно.

Вот о чем мы говорили. Каждый человек имеет о себе мнение. Он думает, что он такой, такой и такой. Но когда он среди других людей, он ведет себя так, что всем кажется: он не такой, не такой и не такой. Он как будто маскируется, чтобы его до поры до времени не узнали. Люди составляют о нем мнение, а он это мнение проверяет своим. Очень редко находится кто-то, кто видит его таким, каким он сам себя видит.

Алик сразу увидел, еще до знакомства, что я робкая и привязчивая, как собачонка. А я поняла, что он одинокий. Однажды я ему это сказала, и он очень обрадовался.

– Иришка, ты вундеркинд! – сказал он. – Как ты догадалась? Я это очень умело скрываю.

Мы уже месяц ходили вместе, и на лекциях, и в перерывах, и в столовой, и в читалке, а он меня ни разу не поцеловал. Наши девочки сгорали от любопытства, когда же это у нас кончится? Никто не сомневался, что кончится, потому что он считался ветреным.

Перед самыми ноябрьскими праздниками мы пошли в театр. Возвращались поздно. В тот день упал первый снег. На улице никого не было, мы шли и оглядывались на свои следы. Идти было мягко. Потом мы еще час ходили вокруг моего дома, протоптали дорожку в снегу. Когда мы прощались, он меня поцеловал.

Я помню, что мне после этого стало хорошо и грустно. До него я один раз целовалась, как в лихорадке, губы сухие, в ушах кровь стучит. Это было в школе, когда я влюбилась.

А тут было тихо, легко, снег опускался, хотелось полететь.

Потом мы с ним целовались по-разному – и долго, и страстно, и иступленно как-то, а в первый раз грустно и легко.

Когда он уходил, он посмотрел на меня виновато. Через четыре года я узнала, почему он так посмотрел.

...Позавчера нам было по шестнадцать лет, и все, что с нами тогда происходило, я способен уместить теперь в трех-четырех воспоминаниях.

Наша школа была кораблем без мачт, плывущим по улице далекого города, слишком далекого, чтобы с уверенностью вернуться туда даже в мыслях. Вероятно, она и сейчас гудит басом, отвечая на приветствия кораблей, входящих в залив, но это кажется не слишком правдоподобным. Город, рассыпанный по склонам сопок, сохранился в памяти лишь местами, точно Парфенон древних греков. Торчащая вверх, как ветка дерева, улочка, по которой я бегал в школу, обрывается с одной стороны пропастью, где стоял твой дом, покрашенный в красный цвет. Я помню дверь подъезда, а рядом прочную тумбу ворот, скрипучих, железных, с гранеными прутьями и пробегающим сквозь них ветром с залива. Створка этих ворот медленно сдвигалась с места, а прутья жгли пальцы, потому что был январь.

Там остались два месяца: январь и июнь. И еще один день в начале октября, когда ты уезжала с нашего края света на другой.

Я беру январь в ладони, точно сосульку, и разглядываю его, пока он тает. Мне нужно успеть его вспомнить, хотя это не доставит нам радости. Мне нужно вспомнить новогодний бал старшеклассников в Доме офицеров флота, куда я пригласил тебя.

Мальчик со смазливой физиономией, что вел тебя в Дом офицеров, был одет по провинциальной моде того времени. На нем был серый, спортивного вида пиджак и черная шелковая рубашка, под воротничком которой болтался узенький желтый галстук. Мальчик был немного

пижон. Когда он надел эту рубашку и стал пробовать к ней различные галстуки перед зеркалом, он себе чрезвычайно нравился. Ни один галстук не подошел к черной рубашке. Мальчик был чисто вымыт, и уши у него светились. Он стал рыться в шкафу, надеясь найти что-нибудь подходящее, и увидел желтую матерчатую полоску, довольно длинную. Не раздумывая, он повязал ее на шею. Конец получившегося галстука болтался где-то на уровне колен. Мальчик отрезал его ножницами и пошел показываться маме. «Это же пояс моей ночной сорочки! – сказала мама. – Ты совсем с ума сошел, Алик!» – добавила она, но я уже победоносно нахлобучивал шапку и вылетал из дома.

Что это было за время! Мода на черные рубашки, появившаяся откуда-то с Запада, может быть, из Тамбова или Саратова, прекрасно уживалась с матросскими брюками «клеш», которые болтались и на мне, потому что я тоже был в душе моряком. В таком виде я появился в Доме офицеров, где горела елка.

Мальчики и девочки с глазами, блестящими, как елочные игрушки, музыка, спирали серпантина, черные с голубым курсанты, казавшиеся нам невиданными красавцами, какой-то жизнерадостный и даже на тогдашний мой взгляд неумный затейник и танцы того старинного времени: «Брызги шампанского» и «Рио-рита».

Я до сих пор люблю эти наивные мелодии, и у меня влажнеют глаза, когда шипящее танго «Брызги шампанского» вертится под иглой проигрывателя.

Там была одна девочка, и ты, наверное, помнишь ее лучше, чем я. Я ее совсем не помню: ни имени, ни фамилии, ни лица. Она появилась в нашей школе незадолго перед Новым годом и уже успела соорудить мне глазки, а я успел это заметить. Она пришла с курсантом, от которого остались в памяти две желтые птички нашивок на темном рукаве.

Ты куда-то исчезла, а я танцевал с нею почти весь вечер, наслаждаясь победой над неизвестным курсантом.

Потом мы шли с тобою по улице вечернего города. Собственно, улицы никакой не было, а была серая, покрытая ледяной коркой полоска тротуара необычайной длины. Мы шли молча, ровно, и мое подленькое предательство тащилось сзади, противно скуля. Прохожие обходили его неприязненно и оборачивались нам вслед. Но вот ты повернулась ко мне, и я увидел твои глаза – темные, страдающие, глубокие, как сегодня на вокзале.

Тогда не было ничего решено. Тогда мы дружили, как принято выражаться на школьном языке, и даже не целовались. Я знал, что нравлюсь тебе – это я понял из твоего собственного дневника, который я нашел как-то случайно и не удержался, чтобы не прочесть. Там, на первой же страничке, было написано по-детски честно твоим ученическим почерком, сохранившимся до сих пор: «Мне очень нравится один мальчик...» Из дальнейшего текста мальчик установил, что речь идет о нем, и это его ошеломило. Удивительно, что я пользовался и пользуюсь этой страничкой дневника, будто неким пожизненным векселем, будто страховой бумажкой, которая надежно, выгодно и удобно охраняет мои права на тебя. Еще удивительнее, что так оно и есть. Я уверен в твоём постоянстве и любви, которая тихо горела в сторонке все эти годы, несмотря на то что в твоей и в моей жизни произошли огромные по юношеским масштабам события. У тебя такой характер, ты верная, так же как и моя жена, но как мне сохранить верность вам обоим?..

И все же я узнала о ней раньше, чем Алик мне сказал.

В первый год после свадьбы мы жили у его родителей. Меня там приняли хорошо, но я чувствовала, что принесла с собой некоторое разочарование. Они против меня ничего не имели, но я была не для их сына. Если бы он со мной походил и бросил, они бы даже жалели меня. Но жену Алика они представляли как-то по-другому.



Он для них всегда был блестящим. Блестящий ученик, блестящий спортсмен, за что бы они ни брался, все у него получалось. И жена у него должна была быть блестящей. Во всяком случае, красавицей.

Они его не отговаривали, для них это было полной неожиданностью. Они просто советовали повременить. Я думаю, тогда они впервые узнали, что Алик упрям. Они его видели таким же, как все, только еще более блестящим и способным. Я тогда этому удивилась, а сейчас вот приглядываюсь к своему сыну и боюсь, сумею ли смотреть на него изнутри, а не снаружи.

Родители Алика не смогли посмотреть на меня его глазами. Я их не виню, это ведь редкость, мои родители меня тоже плохо знали.

Мы тогда увлекались фотографией. Я сидела дома в декретном академическом отпуске и клеила фотокарточки в альбом. Мы решили сделать два альбома: его и мой. А потом уже делать общий, где мы вместе на фотокарточках.

У Алика альбом получился толще. Его любили фотографировать. Мы разместили все в хронологическом порядке. Алик грудной, потом дошколенок, первоклассник и так далее. Алик спортсмен, Алик на физической олимпиаде, Алик у моря.

Два листа альбома он сделал сам, без меня. Я не заметила, когда он их сделал. На них были школьные фотографии девятого и десятого класса. На одной была группа девочек. На другой, блеклой, желтенькой, – вид класса на перемене: кто-то стоит спиной, кто-то жует, а на последней парте улыбается девочка. Потом эта девочка на вокзале. Платье в горошек, букет цветов в руках и улыбка. На этой фотографии она улыбалась не так, как в классе. Она старалась улыбаться, чтобы не заплакать. Со мной так часто бывает, поэтому я узнала улыбку.

Девочка мне понравилась, я в ней почувствовала что-то родственное. На фотографии ей было шестнадцать, а мне тогда было двадцать два. Я смотрела на нее немножко сверху вниз, я уже знала Алика таким, каким она не знала.

Теперь нам по тридцать два года. Мы сравнялись.

Хотя нет, мы сравнялись раньше, в двадцать пять. С тех пор мы живем, ощущая присутствие друг друга. Алик со своими «непересекающимися пространствами» ничего не понимает.

Еще на одном листе мы с Аликом наклеили всех его бывших возлюбленных. Я сама их клеила. В центре я поместила его портрет в возрасте девятнадцати лет, а вокруг целую кучу девушек. Мы с ним смеялись, он мне про них рассказывал. Это были увлечения со скоростью звука, так он говорил. Одной он увлекался неделю, другой целый месяц. Я удивилась. Девушки все как на подбор были красивые, гораздо красивее меня и той, с букетиком.

Этот альбом любила рассматривать мать Алика. Мы с ней сидели в кухне и шили распашонки. Тогда она мне и рассказала про нее.

– Она Алика очень любила, – сказала она. – Ее отца перевели куда-то далеко. Она уехала в начале десятого класса... Потом я как-то встретила одну родительницу, я в родительском комитете была, мать ее подружки, и она мне рассказала, что дочка получает письма. «И там все про вашего Алика, все про Алика». Она, когда уехала, очень заболела, чуть не умерла...

– А вы Алику сказали? – спросила я.

– Нет, что ты! Я мечтала, чтоб он поскорее забыл. Он ведь тоже... Ну теперь-то дело прошлое...

Все-таки они его плохо знали. Уж если он вобьет себе что-нибудь в голову, это надолго. Вот так же он вбил себе, что я буду его женой. Между прочим, он мне об этом сказал почти сразу. На ноябрьские, на третьем курсе, у нас был курсовой вечер. Мы с ним танцевали, вот тогда он и сказал на ухо:

– Ты выйдешь за меня замуж.

Он даже маленького вопросительного знака в конце не поставил. Будто он один решал.

– Неинтересно, – сказала я. – Другие мучаются, сомневаются, гадают на лепестках: любит, не любит...

– А мы в эти кошки-мышки играть не будем. Мы поженимся и будем жить всю жизнь. Это очень долго и довольно серьезно, поэтому ты привыкай к этой мысли.

Мне показалось, что он старше меня лет на десять. Это было удивительно, его все считали легкомысленным.

Я шила розовую распашонку, потому что знала, что у меня будет дочь. На столе лежал раскрытый альбом. Девочка все улыбалась, улыбалась, почти плакала. И вдруг я подумала: «А если бы они сейчас встретились?..»

...Когда я сел в самолет, пытаюсь сквозь круглое окошко разглядеть тебя в толпе провожающих, над которой летали маленькие белые ладони, где-то на юге Ирина уже ехала в жарком автобусе на аэродром встречать меня. Три часа я находился в пространстве между вами, ничего не понимая и тупо уставясь в облака подо мною, которые ползли к тебе на север, точно ковер из белых одуванчиков. Потом самолет проткнул этот ковер, причем одно семечко одуванчика с парашютом залетело в самолет, и я вдохнул его носом, отчего у меня выступили слезы. Над толпой встречающих кружились уже загорелые ладони, одна из которых принадлежала жене. Я сразу увидел ее, худую и смуглую от солнца. Она радостно смеялась, а у меня в глазах стояли слезы из-за проклятого одуванчика, так что наша встреча оказалась испорченной.

Потом была душная густая ночь, когда мы с Ириной лежали на влажной простыне, не касаясь друг друга, совершенно неподвижно, и я мертвым голосом объяснял, что не могу до нее дотронуться. Ты тоже была в этой комнате и стояла, видимо, за занавеской из марли, потому что, когда я подошел к двери, занавеска отпрянула от меня, как живая.

А ведь вчерашний день, предшествовавший нашему с женой объяснению, был, вероятно, самым счастливым днем моей жизни...

Ты появилась внезапно, сначала в виде открытки, на которой как-то весело были написаны обыкновенные слова, будто мы расстались неделю назад. В открытке сообщалось, что ты приехала в Ленинград поступать в Академию художеств на заочный и хотела бы на меня посмотреть. Было лето, был август, и нам было по двадцать четыре года всем троим: тебе, моей жене и мне.

Я положил открытку на стол в своей комнате и стал ходить вокруг нее, поглядывая, не исчезнет ли она. Время от времени я подходил к открытке и перечитывал ее, не дотрагиваясь. У меня будто все провалилось внутрь и лежало там темным запутанным клубком, конец которого я и не пытался найти. Кажется, я насвистывал что-то. Потом я вдруг полез в шкаф, где хранился альбом с моими школьными фотографиями, и нашел среди них ту, на которой ты с букетом цветов – помнишь? – в платьице, на вокзале. Там же была и другая. На ней мы сфотографированы всем классом на перроне, и в центре с тем же букетом стоишь ты. Мы позировали, посмеиваясь, хотя ты уже понимала, что уезжаешь насовсем, а я не понимал, для меня не было тогда такого слова. Потом нас стали усиленно оставлять вдвоем, чтобы мы попрощались и поцеловались в конце-то концов. Особенно старалась твоя подружка Таня, она очень за нас переживала.

Я перевернул страницу альбома, закрыл глаза и увидел тот вокзал по-настоящему. И в самом деле, фотографиям нельзя верить! Поезд стоял длинный, зеленый, пахнувший разлукой и дымом, а паровоз выпускал в небо гроздь белых одуванчиков. Моя курточка с серым верхом и твое платье в горошек, сцепившись рукавами, плавно летели вдоль поезда над узким перроном, на котором не было никого. Букет цветов ронял лепестки каждую секунду, а когда все лепестки упали, паровоз свистнул.

Ты оказалась за двойным стеклом вагонного окна и прижала к нему губы, отчего они смешно растеклись и стали белыми, как вылившийся из свечи воск. Я прижался к стеклу носом, и тут ты как-то жалко сморщилась, все еще смеясь, а я почувствовал, что стекло скользит по моей коже и твои расплывшиеся губы уходят влево. Проводница крикнула, чтобы я ото-

шел, и поезд, набирая скорость, промелькнул мимо. В каждом окне я видел отраженное свое лицо. Лица мелькали, точно кинокадры, пока не слились в зеленовато-стеклянной поверхности, убегающей вбок, которая оборвалась обрезом последнего вагона. За ним по шпалам вилась коричневая пыль, и я едва не оказался втянутым в пустоту, как восемь лет спустя, когда взглянул в окно взлетавшего самолета и ощутил, что меня неудержимо втянуло к тебе...

В то лето мы со свекровью поехали на юг. Нашей дочке было уже два года, и свекровь сказала, что ее нужно «прогреть». Мать Алика очень деятельная, я при ней теряюсь, не знаю, что мне делать. Мне, чтобы что-то сделать, нужно сначала подумать, а она привыкла сразу. Она опережала меня, и все время получалось так, что за ребенком следит она: и готовит, и кормит, и переодевает. А я была так, сбоку припека. Это меня очень расстраивало, по ночам я ревела. Конечно, я была молодой матерью и ничего не умела толком, но все равно мне хотелось самой. И я очень ждала Алика, чтобы он прилетел и с ней поговорил. Он умеет так сказать, что не обидно.

Алик остался в городе, потому что у него были разные дела. Он только что защитил диплом, и его, конечно, сразу рекомендовали в аспирантуру на кафедру. Его родители восприняли это как должное. У них был готов его жизненный путь: после института аспирантура, через три года кандидатская, а потом лет через пять докторская. Когда он впоследствии свернул с этого пути, они были в недоумении.

Наконец мы получили телеграмму от его отца: «Алик вылетает завтра утром встречайте». Почему он сам ее не дал?

Я поехала в аэропорт. Было очень жарко, я на юге похудела от солнца, как-то высохла, и глаза у меня провалились. Я боялась, что не понравлюсь ему. Зачем-то я купила букетик цветов.

Аэропорт в этом городе был маленький. Самолет сел, его подвезли близко к барьеру, за которым стояли встречающие, и подали трап. Я смотрела во все глаза и волновалась. Все-таки это у нас была первая маленькая разлука.

Алик вышел из самолета последним. Я махала ему рукой из толпы, а он шел по трапу медленно и прямо. Я думала, что он меня не заметил, но он пошел сразу ко мне, приблизился, поцеловал в щеку и сказал:

– Ну как тут у вас дела?.. Ты загорела.

Я сунула ему букетик, обняла и почувствовала, что он какой-то твердый. Твердый и чужой. Я заглянула ему в глаза. Они были далеко-далеко. Он устало улыбался и смотрел поверх меня.

– Зачем же мне цветы? – сказал он.

– Я по тебе соскучилась, – сказала я и уткнулась ему в плечо. Оно тоже было круглое и твердое. Будто он напряг все мышцы.

– Я устал что-то... – сказал он. – Плохо летели.

Мы втиснулись в автобус и поехали. В автобусе он спрашивал о дочке. Он насильно старался себя вернуть, но у него не получалось.

Тогда я сделала вид, что ничего не замечаю. Я вела себя спокойно весь день и ждала. Я знала, что он мне все расскажет, ему больше некому рассказывать. Только я этого не хотела. Но и в неизвестности оставаться было страшно.

Мы не виделись месяц. Что могло с ним произойти за месяц? Конечно, он в кого-то влюбился, по лицу видно. Если так, то это быстро пройдет, надо немного потерпеть, дня три, хотя это и неприятно. Он давно не влюблялся, а тут я уехала, и он остался один. Неужели он так сильно влюбился, что не может скрыть? Тогда нужно подождать больше, может быть, неделю или две. Конечно, он мог бы и скрыть. Что мне за радость видеть его отсутствующую

физиономию? Слышать, как он вздыхает. Просто он еще не научился вести себя как другие, подумала я. И я не знала, радоваться мне этому или огорчаться.

Я ничего не боялась. Это был «не тот случай», как говорил Алик. Я знала, что только по невероятному стечению обстоятельств он мог встретить женщину, которая бы понимала его лучше, чем я. Во всяком случае, он не успел бы в этом разобраться за месяц. И я решила потерпеть, хотя мне было очень тоскливо.

Я ошиблась. Это был именно тот случай, единственный.

Поздно вечером мы легли спать. Я чувствовала, что Алик оттягивает этот момент. Он выходил во двор курить, долго умывался, а когда пришел, я уже лежала на простыне, вся черная, с двумя белыми полосками на теле. Я нарочно разделась, чтобы он поскорее все забыл и проснулся бы завтра выздоровевшим. Я по нему, правда, очень соскучилась.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.